

СОЗЕРЦАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ¹

Есть две темы сейчас на Западе, которые в духовной жизни представляются трудными и вызывают напряжение. Это, с одной стороны, вопрос о том, как жить и действовать христианину, и, с другой стороны — есть ли еще какое-нибудь место для созерцательной жизни; каким образом можно жить в гуще жизни и выполнить свое призвание к созерцанию, как можно быть созерцателем и вместе с этим не уйти куда-то внутрь себя или в какую-то вещественную, пространственную пустыню.

И вот мне кажется, что Евангелие нам дает творческое и замечательное разрешение этого противоположения, только при условии, что мы не будем сначала определять деятельность и созерцание в несовместимых терминах. Если мы начнем с того, чтобы их определить несовместимо, мы, разумеется, не сможем их нигде свести.

Обыкновенно деятельность определяется предметом: деятельность врача — это забота о больных, деятельность юриста — это определенный круг юридической работы, и т.д. И человека в этом деле часто забывают: забыт тот, кто делает, а помнится только дело. С другой стороны, значительность дела по мирским, обычным масштабам измеряется успехом. Эта терминология успеха и поражения или провала играет сейчас, думаю, громадную роль везде, потому что это человеческие, а не общественные категории. И она создает громадные проблемы, потому что неудачник клеймится как обществом, так и своей совестью, но неудача-то измеряется успехом, который, в свою очередь, измеряется внешними критериями.

Что касается созерцательного момента, мы так привыкли, что созерцание связано с определенной формой жизни (скажем, созерцательное монашество — это пустыня, это затвор, это монашеская келья, это уход из жизни), что нам больше не представляется естественным думать о созерцательной жизни в самой сердцевине общественной деятельности. И здесь встает противоречие, которое нам надо разрешить, если мы хотим быть христианами, потому что мы не можем вести христианскую жизнь вне созерцания, ибо нет познания Бога и общения с Ним вне созерцательной установки. Самое созерцание — это дар Божий; но та установка, благодаря которой созерцание может случиться, может быть дано, зависит в значительной мере от нас. И вот мне хочется продумать с вами немного вопрос о том, прежде всего, что такое деятельность для христианина.

Вообще-то говоря, для христианина деятельность, созерцание, молитва, все, что составляет его христианскую природу, заключено во Христе, т.е. все, что в нас не совместимо и не совпадает со Христом, это еще в нас не христианское.

Если мы молимся как бы наперекор воле Божией — что делается нами постоянно, когда нами властвуют желания, мечты, и мы говорим: "Господи, дай! дай! дай!" — зная, что это не в плане строительства Царства, что это только в плане моей личной жизни, — мы вне Христа, или вернее, мы становимся в другое положение по отношению к Нему: это уже не то положение, где мы с Ним участвуем в спасении мира, участвуем в жизни Бога, спасающего мир.

Какова же была деятельность Христова?

Во-первых, она не определялась предметом; она определялась милосердием, любовью, жалостью. Все случаи исцелений, которые мы находим в Евангелии, например, воскрешения сына вдовы наинской или Лазаря, все чудеса, которые Он творил над природой — как умирение бури на море Тивериадском, — определяются только одним: Ему *жалко*, в самом сильном смысле этого слова, жалко погибающей твари, и Он вступает и что-то делает по милости, по милосердию. Но никогда в центре не стоит самое дело. Он никогда не творил чудес ради того, чтобы совершить чудо. Он не определил Себя в истории человечества как целитель, как тот, который может привести в гармонию природу, тот, который может превратить камни в хлебы, тот, который может взять такую власть над человеком и над миром, чтобы создать искусственно, силой Царство Божие — которое так именно не может быть создано.

¹ Весна 1971 г. Опубликовано в: Труды. М.: Практика, 2002. Т. 1. С. 417–446.

А второе (я буду сейчас говорить, как человек, который не знает о Воскресении Христа) — выражаясь по-человечески и, конечно, несколько грубо, — если кто был «неудачником», то это Христос; потому что, если посмотреть на жизнь Христа и на Его смерть вне веры, — это катастрофа. Вот человек, который всю жизнь ошибался в том, что Он Собой представляет. Он верил, что Он — Бог, и Он ошибался. Он творил дела милосердия, и те самые люди, над которыми Он их творил, рано или поздно от Него отворачивались, и когда пришло время входа Господня в Иерусалим и страстные дни, та же толпа, которая вокруг Него роилась, которая от Него ожидала чуда, исцеления, милости, учения, повернулась против Него, и после страшной Гефсиманской ночи начинается Страстная и, в конечном итоге наступает гибель, совершенное поражение. Он умер, как преступник; Он не умер, как герой или мученик. Он не умер за идею. Он умер, потому что Ему приписали политическую недоброкачественность, Он — опасный политически и общественно человек, и Он с другими ворами и разбойниками был распят. При чем в нашем представлении распятие именно благодаря Христу приобрело совершенно новое значение. Для нас крест, распятие — знак чего-то великого; но в ту эпоху распинали преступников, это было то же, что на плаху послать человека. В этом не было ничего особенного, тысячами распинали людей, это даже не было зрелище особенное, а зрелище, к которому люди привыкли, ни нового, ни исключительного ничего не было. Он не был ничем выделен, и погиб; и люди ходили вокруг Него и говорили: Ну что? Говорил, что Ты — Сын Божий... Если на самом деле Тебя Бог любит, пусть снимет Тебя сейчас с креста; Ты говорил, что Он к тебе имеет особое благоволение: сойди со креста — мы поверим...

Так что говоря о деле Христа, о том, как Он действовал, можно сказать, во-первых, что Его деятельность ничуть не определялась предметом. Он не искал быть целителем, чудотворцем или чем-нибудь особенным. Единственным двигателем были любовь, милосердие, сострадание, заботливость, причем настолько неразборчивая, что Его и за это упрекали: Он спасает из подонков тех, которые ими и должны бы оставаться, чтобы люди приличные не терлись о них в обществе. И, с другой стороны, Он поражен по всей линии, неудачник во всем.

И вот в этом отношении мы должны быть очень осторожны, когда мы думаем о христианской деятельности как о такой деятельности, которая целесообразна, планомерна, успешна, которая обращена к определенной цели и ее достигает, которая так проводится, что венчается успехом. Это не значит, что успех, планомерность, целесообразность — не христианская деятельность, но не в них сущность христианского момента, Христова момента в деятельности. Сущность его в том, что Христос во всей Своей деятельности, в каждом слове, в каждом деле, во всем Своем бытии выражал, делал конкретной, реальной волю и любовь Божию. Христос был как бы божественным действием. Это был Бог действующий, Бог в движении, динамика Божественная во плоти. И это очень важно, потому что характерная черта христианского действия — не активизм, а то, что, кроме христианина, никто не может быть посредником, проводником прямого Божественного вмешательства, потому что нам дано знание, определенное знание. Христос нам сказал: Я вас больше не называю рабами, Я вас называю друзьями, потому что раб не знает, что делает его господин, — вам Я все сказал... Вот принципиальная основа; то, что каждый из нас, в частности, не способен к этому от себя, изнутри, говорит только о том, что у нас нет той глубины приобщенности уму Христову, о которой говорит ап. Павел, чуткости к водительству Святого Духа. Но принципиально это не меняет ничего; ни отдельный христианин, ни какая бы то ни была христианская группа людей, ни Церковь через большую «Ц», ни даже церковь через самую маленькую «ц», т.е. любая конкретная христианская община, даже как бы бездарная, — не может о себе иначе думать. Наше призвание — быть тем местом, где Бог свободно действует, и теми людьми, через которых Он действует свободно.

Но тогда именно встает вопрос: откуда же может христианин — будь то Церковь в целом или кто-либо в отдельности — быть таким Божественным действием, проводником, посредником такой Божественной динамики? Думаю, мы находим ответ на это, я думаю, тоже в Евангелии. Помните, в пятой главе Евангелия от Иоанна, которая читается на отпевании, в конце говорится: *Якоже слышу, сужду, и суд Мой праведен есть, яко не ищу воли Моея, но воли*

пославишаго Мя Отца... Именно: как Я слышу, так Я сужу; то, что Я слышу, Я повторяю, и это — Божественный суд; и потому Я это делаю, что Я не ищущу Своей воли, Я не ищущу того, чтобы выразить Свое мнение, Свое желание, свое волеизъявление; Я прислушиваюсь, и Мои слова выражают то, что Бог говорит. Вот здесь — таинственная и основная связь между глубинами молчания и произнесенным словом.

Один анонимный подвижник XI века, который оставил довольно мало писаний, но интересных, говорит: если мы имеем право по справедливости, согласно Священному Писанию, называть Христа Словом Божиим, то мы можем сказать, что Бог — это то бездонное молчание, из которого Оно рождается в чистоте... И это очень важно, потому что связь между словом и молчанием имеет огромное значение. Один из подвижников Церкви эпохи отцов пустыни, авва Памво, был как-то призван своими братьями сказать приветственное слово навещающему их епископу. Он сказал: «Я ему ничего не скажу». — «Почему?» — «Потому что, если он не может понять моего молчания, ему никогда не понять моих слов». Мы обманываемся, когда думаем, что мы общаемся друг со другом через слово. Если между нами нет глубины молчания, слова ничего не передают, — это пустой звук. Понимание происходит на том уровне, где два человека встречаются глубинно именно в молчании, за пределом всякого выражения, всякого словесного выражения. И вот о Христе этот монах говорил, что Он — Слово, которое до конца выражает содержание такого молчания. Не слово, которое рождается из внутренней тревоги (как часто мы говорим — не из глубины, а от какой-то поверхностной ряби в нашей душе), а то слово, которое рождается, когда, говоря из человеческого опыта, человек или сам войдет внутрь, в глубокую молчаливость, или когда, бывает, нам дается молчание, когда вдруг на нас, как благодать, сходит такая тишина, такая внутренняя умиротворенность и молчание, что если два человека охвачены таким молчанием, они сначала не могут даже говорить друг со другом, потому что сознают, что любое слово разобьет это молчание, оно разлетится вдребезги с ужасным треском и ничего не останется. Но если себе дать молчать дальше и дальше, то можно в молчании в такую тишину, когда знаешь, что теперь, на этой глубине, можно говорить, не нарушая молчания, а придавая ему словесную форму. И вы наверно замечали, как тогда говоришь тихо, спокойно, как выбираешь слова и не оставляешь места случайности: лучше что-то недосказать, чем сказать лишнее, потому что каждое слово должно быть правдой о том, что содержится в молчании.

Яко же слышу, сужду, и суд Мой праведен есть... Христос был именно так молчалив, что мог слышать, и так слышал, что мог произносить слова, которые были Божии. В этом смысле Он — Божие Слово во всех отношениях, каждое Его слово есть Божие, не потому только, что Он Бог, а потому, что то, что Он говорит, идет из недр Отчих.

И то же самое относится к Его действиям. Есть разные места в Евангелии, где указывается мимоходом, что Бог, Который почил от дел Своих в седьмой день, не оставил мир на произвол судьбы. Промыслительное действие, Его труд над спасением мира продолжается. И есть ряд мест, где говорится, что Бог и доселе творит: Он показывает Мне дела, и Я их творю... Опять-таки, то, что по отношению к слову есть молчание и слышание, здесь — та углубленность, которая дает Христу видеть действующего Бога, видеть невидимое действие, как бы чистую динамику Божественную в этом мире, и воплощать, внедрять Божие действие в тот мир, в котором мы живем. Вот почему Христовы действия, Христовы слова так совершенны, и вот что они собой представляют. И наше призвание как христиан — так обладать умом Христовым, так быть движимыми Духом истины и Духом сыновства, так уметь слушать и вглядываться, чтобы наши действия были действиями Самого Бога, которые Он творит через нас. Один из пророков, кажется Амос, говорит: пророк — это тот, с кем Бог делится Своими мыслями. Мы призваны так быть пророками: не в том смысле, в котором мы говорим о пророчестве, как бы о даре предсказания, — не в этом дело. Можно ничего не предсказывать, но тот, кто за Бога говорит вслух Божественные слова, есть пророк.

Это нас подводит к вопросу не о том, как бы специализированном, созерцании, которое описывается в житиях святых, в пустыне, в затворе, а о той основной созерцательной настроенности, которая принадлежит всякому христианину — если он только христианин: или как

намерение, или как что-то уже начинающееся, или как что-то, чем мы обладаем. И вот об этом я еще хочу сказать нечто.

Слово «созерцание» в строгом, аскетически-мистическом словаре относится к созерцанию человеком Самого Бога; «теория» по-гречески — это именно созерцание Бога. В расширенном смысле, однако, можно думать о созерцании как видении и Бога, и Его путей, и становления Его твари. Когда, скажем, Филарет Московский в одной из своих проповедей на Рождество говорит, что тот, у кого сердце чистое, глядя на мир, видит почивающую на нем благодать Божию, видит как бы сияние благодати; тот мир, который мы видим тусклым, потухшим, оскверненным, может быть путем к созерцанию присутствия Божия. Это не чистое созерцание Божественной природы, сущности, но это видение Бога, потому что сияет в этой твари — именно благодать, Он; и поэтому я буду употреблять слово «созерцание» в таком расширенном смысле. Созерцание предполагает определенное расположение духа, оно предполагает способность слушать и способность видеть, оно потому требует от нас определенной установки на то, что, когда я слушаю, я хочу слышать, и когда я смотрю, я хочу видеть. Это кажется очень плоским замечанием. На самом деле это очень редкое состояние; мы не смотрим с целью видеть, и мы не слушаем с целью слышать. Мы видим очертания — и ни на чем не останавливаемся, мы слушаем слова — и за словами не улавливаем целых глубин чувств или мыслей. Вы, наверно, замечали, как бывает: вы устали, вам не хочется ввязнуть в чью-нибудь жизнь. Встречаете вы кого-нибудь, спрашиваете: «Ну, как сегодня?» И тот потухшим голосом, с мертвым выражением лица вам говорит: «Все хорошо». И вы не отзываетесь: его слов достаточно, их-то вы и ждали, он вас освободил от необходимости взять его тяготу на себя, вы свободны. Если мы бы были честны, то сказали бы: «Неправда, у тебя взор потух, голос мертвый, по всему я вижу, что совсем не ладно. То ли страх в глазах, то ли еще что-то». Мы могли бы открыть в нем целую жизнь, но часто не делаем этого, потому что увидеть — значит взять на себя солидарность, ответственность, так войти в жизнь другого человека, как говорит апостол Павел: *друг друга тяготы носите...* То же самое можно говорить о том, что мы видим и слышим, во всех отношениях. И поэтому воспитание в себе способности видеть и слышать начинается не тем, чтобы открыть глаза и уши, оно начинается в момент, когда мы решаем доброй совестью относиться к ближнему и к Богу — Он тоже нам ближний. Слушать, смотреть, молчать: всматриваться, пока мы не увидим, вслушиваться, пока мы не услышим, не уходить никуда от поставленного перед нами вопроса о том, что в этом человеке, что в этом Боге, что в этом слове, *что* в этом действии?

Знаете, есть люди, которые любят природу, зверей. Выходят они рано утром для того, чтобы уловить первые движения просыпающегося леса или поля. Если вы хотите что-то уловить, вы должны встать раньше, чем звери, пойти в поле так, чтобы весь лес не проснулся от ваших легких шагов, сесть где-нибудь, чтобы быть как можно более незаметным, и в себе совместить как бы парадоксальные состояния: с одной стороны, такой живости духа, такого внимания, чтобы ничто не могло избежать вашего взора или слуха, но с другой — такой гибкости, чуткости, чтобы все отзывалось в вас. Это парадоксально в том смысле, что это не пассивность и не активность. Это не пассивность, потому что, если мы пассивны, на нас как бы налагают печать, которую мы замечаем только тогда, когда она уже глубоко врезалась, а активность — это такое состояние, когда мы идем навстречу событию. Но навстречу неизвестному событию нельзя пойти, вы не можете пойти навстречу неопределенному звуку, который придет неведомо откуда. Епископ Феофан Затворник это выражал иначе; он говорил, что для духовной жизни человек должен быть как натянутая струна; но не перетянутая, потому что, если попробовать перетянутую струнку тронуть пальцем, она лопнет, застонет и разорвется; но, если она будет не натянута, она никогда не даст чистого звука; она будет висеть, шуметь, гудеть, но не звучать. И вот это — состояние, которое как бы предварительно к созерцанию: чтобы любое прикосновение к нам было воспринято и вызвало ясный, чистый ответ внутри нас. В молитвенном порядке — это молчание, в порядке действия — это способность вглядываться и понимать.

Как я уже сказал, строго говоря, созерцание относится к Богу и имеет место при углубленной молитве, когда Господь его дает, в тех состояниях, когда человек вдруг чувствует Божие присутствие с такой силой, что все остальное уходит из его сознания. Я могу вам дать пример из наших дней. В 1938 году на Афоне умер старый русский монах Силуан. О нем написана книга на русском языке, которую, вероятно, некоторые из вас знают. Он писал довольно много писем нам в Париж. В одном из этих писем (не помню, попало оно в книгу или нет) рассказ идет так. Силуан и некоторые другие старшие монахи, которым был поручен надзор над монастырскими рабочими, сидят за столом, и один из монахов ему говорит: «Слушай, отец Силуан, что ты делаешь со своими работниками? Мы за своими смотрим все время, и они все делают, как могут, чтобы отлынивать от работы. Ты же никогда за ними не смотришь, а они все тебе выполняют». И его ответ был таков: «Я ничего не делаю. Я прихожу утром, встречаю этих работников, и мне делается их так жалко: это же русские мужички, русские ребята 19, 20, 21 года, которые оставили свои деревни, покинули родные поля, родные леса, больше того — матерей, отцов, молодых жен, новорожденных детей, — и пришли на Афон работать, потому что слишком бедно было дома, и какие-то гроши зарабатывают с тем, чтобы через год или два вернуться к себе. Мне их жалко, — продолжает Силуан, — и каждому я говорю какое-нибудь слово, чтобы у него на душе тепло стало. Каждому раздаю работу, которую, думаю, он может выполнить. А потом я ухожу к себе в келью, и пока они будут работать, я о них молюсь». Дальше он рассказывает о том, как он молится. Он говорит: «Я становлюсь и начинаю просто перед Богом плакаться о каждом из них. Я говорю: Господи! посмотри на Николая: ему всего-то двадцать лет. Как тоскливо ему здесь, пришельцу из северной России. В деревне он оставил молодую жену и годовалого ребенка. Как ему должно быть страшно за них; все что может случиться; а он же неграмотный, и жена неграмотная, и год он ничего о них не будет знать, и что еще он встретит, когда вернется... И так, — говорит, — я Богу рассказываю о Николае, о его жене, о их младенце, о деревне, о его страхах; и по мере того как я молюсь, я начинаю ощущать близость Божию, и это сознание, это чувство близости Божией так нарастает, что в какой-то момент оно собой захлестывает все, как волна, и уже я не могу и вспомнить ни Николая, ни его жену, ни деревню, ни ребенка — ничего, и меня куда-то уносит, как потоком, в глубины Божии. И когда я дохожу до какого-то места в этих глубинах Божиих, я встречаю Божественную любовь и в ней — Николая, его жену, ребенка, деревню, родных, все их страдания; и уже Божественная любовь меня возвращает на землю и заставляет меня молиться. И снова нарастает чувство Бога, и снова я отрываюсь от земли, и снова уношусь в глубины, где снова нахожу тех же людей, ради которых Сын Божий стал Сыном Человеческим».

Здесь созерцательная молитва, которая начинается с чего-то очень простого: с жалости, с сострадания конкретному человеку; это не какое-то Божественное откровение о чем-то, это — Николай, его молодая жена — и вот нарастает такое чувство. Но оно дается подвигом молитвы, дается чистотой сердца, дается всем содержанием христианской жизни.

Кроме того, есть другие как бы подходы к этому. Другой подход, не непосредственный подход к Живому Богу — это подход к живому слову Божию, к Священному Писанию, при условии, что мы его будем читать действительно, как мы читаем живое слово, когда получаем письмо от человека, которого мы глубоко любим, каждое слово которого для нас значительно, важно, каждое слово которого мы будем потом носить в сердце, как песнь. Мы не разбираем это письмо по словам да по слогам, мы не отмечаем, что здесь неясно написана буква, а здесь должна быть запятая, а тут какая-нибудь ошибка в правописании. Мы слушаем, читаем это письмо, и мы слышим всю живую человеческую душу. Каждое слово бедно по сравнению с тем, что оно может нам дать. Это не означает, что мы читаем между строками; это другого рода упражнение. Потому что между строками можно вычитать то, чего человек в строку не вкладывал; а мы читаем с таким открытым сердцем, с такой лаской, с такой любовью, что сказанные слова звучат по-иному, причем звучат-то они только, если мы любим. Если любви нет, мы их читаем с иным ударением.

Мы можем так же бездарно или чутко читать Священное Писание. Можно его разбирать, а можно его воспринять. И вот надо нам учиться читать; надо читать, сознавая, что Сам Бог к

нам обращается с этим письмом. Что Он мне говорит в этом письме? Моей душе, моему сердцу, моему сознанию? К чему Он меня зовет? Причем не так: вот, выделяю заповеди и буду выполнять, принимаю к сведению и исполнению, — так мы не читаем письма от любимых нам людей; а читать, как письмо, где дышит человеческая жизнь, которую мы всю принимаем и на которую отзываемся душой, телом — всем.

И еще нам надо научиться созерцательно, т.е. именно вдумчиво, внимательно прислушиваясь, приглядываясь, относиться к жизни. Часто жизнь нам представляется, как незаконченная ткань, и мы смотрим на нее с изнанки, словно мышка, которая бежит, смотрит вверх и видит: натянута ткань и какая-то нелепость — рисунка нет, все какие-то нитки в беспорядке. Мы порой смотрим на жизнь так, и она нам кажется бессмысленной; мы с изнанки на нее глядим: нет узора, нет цели, нет движения, только какие-то монотонные линии, которые прерываются узлами, откуда висят необрезанные нитки. Это мы делаем просто потому, что жизнь видим на разных уровнях. Есть Божий уровень, есть очень простой человеческий уровень, и есть какой-то средний уровень, скажем, газетный. Жизнь по газете — это выборки из всего, что может поразить человека. Если взять газету и посмотреть, на что похож сегодняшний день в мире, то он состоит из конфликтов разного рода. Личных конфликтов (украл, убил), общественных конфликтов, военных конфликтов, конфликтов природы (землетрясение, пожар, и т.д.). И все конфликты — без всякого разрешения. Это в каком-то смысле видение ткани со стороны мыши. Это видение, которое недостаточно большое и недостаточно маленькое. Оно недостаточно большое, потому что нет ключа, который давал бы, указал бы перспективу и пропорцию вещей; все равно важно, лишь бы было достаточно жутко или поражало; и недостаточно мелко, потому что это больше человеческого размера, но не на человеческий масштаб.

Есть другой подход: Библия, Священное Писание — это видение той же истории человечества, но с совершенно странной точки зрения — с Божией. Вот читаете Священное Писание. Царь такой-то правил пятьдесят лет. «А! — думает историк, — ну, тут-то можно что-нибудь узнать, пятьдесят лет правил — что-нибудь да случилось». Библия нам говорит: в его время стали строить капища на верхушках гор; и напали на Израиль соседи. И добрый историк пожимает плечами: какой интерес в том, что строили капища на верхушках гор? Неужели пятьдесят лет царствования сводились к тому, что это случилось? Именно, сводится к тому, ибо вся сущность его царствования в том, что при нем люди отвернулись от Бога и начали строить капища. А все остальное — совершенно безразлично, потому что ничего не осталось ни от царя, ни от его народа, ни от его городов, ни от чего, что было создано руками человеческими. Вот Бог посмотрел, и это действительно ужасно в каком-то отношении: пятьдесят лет жизни — просто пустота. Лишь эти капища нам говорят: вот изменник, отвернулся — и погиб. Тут совсем другое видение истории, пророческое, священное видение истории. И в этом отношении Библия не может заменить учебника истории, но она колоссально интересна, потому что, если взять параллельно это царствование в учебнике истории и рассказ Библии, вы видите: суд человеческий — и суд Божий, масштаб человеческий — и Божий масштаб; что важно — что неважно; что значительно — что незначительно. И это иногда заставляет остановиться и крепко задуматься, потому что, если вместо «царь такой-то», вы скажете: «Иван прожил двадцать шесть лет, и все, что в его жизни имеет какое-то значение, это то, что он построил капище где-то у себя в душе», — это совершенно другое дело. Создал себе идола: сводка целой человеческой жизни.

Есть еще один масштаб, который нам очень хорошо известен, но на который мы не обращаем достаточно внимания. Как бы мы ни смотрели на историю, в самой широкой перспективе или в средней мышино-газетной перспективе, есть еще более мелкая перспектива, где вещи снова делаются реальными. Мне вспоминается эпизод из времен войны. Ну, кто-то в нас стрелял, и мы как можно площе лежали — это естественное дело. Сначала было неприятно, что стреляют, но нельзя постоянно напрягаться, постепенно само напряжение заставляет расслабиться. Я лежал на животе, был месяц май, стреляли над головой, я делался как можно более плоским и смотрел перед собой на единственное, что было: трава была. И вдруг меня

поразило, какая сочная, зеленая трава, и два муравья ползли, тащили какое-то маленькое зернышко. И я загляделся, и вот на этом уровне вдруг, оказывается, есть жизнь, нормальная, цельная жизнь. Для муравьев не было ни пулеметов, ни стрельбы, ни войны, ни немцев — ничего, была крупица чего-то, что составляло всю жизнь этих двух муравьев и их семейств. И вот если бы мы умели быть более внимательными, то заметили бы, что при самых тяжелых обстоятельствах можно сойти на уровень — даже не мыши, а муравья, посмотреть и увидеть, что жизнь все равно есть. Да, все эти трудности есть, но я дышу, я живу, и тысячи вещей происходят, которые как бы вне досягаемости среднего уровня жизни. Такое видение истории, или моей личной жизни, или семейной, или коллективной жизни на уровне Божиим, либо, наоборот, на таком простом, скромном, человеческом уровне, куда не достигает многое, — это тоже начало созерцательного настроения, потому что это заставляет нас оторваться (или предполагает, что мы оторвались) от напряжения и от суеты, от взволнованности, от того, что вся проблема сводится ко мне: я — в центре. Вокруг целый мир, бесконечно расширяющаяся вселенная, а я в центре — крупица, малюсенькая крупица, но все-таки центр. В момент, когда мы оторвались, мы можем смотреть и видеть сначала муравьев и мураву, а потом можно увидеть, что все-таки и небо есть, и не все время стреляют, и стреляли-то полчаса и не попали, и масса вещей, вдруг оказывается, есть, живых, простых — потому что мы не каждую минуту умираем. И вот в этой созерцательной настроенности слушания, видения, чувствования себя, вдумчивости, все сводится к тому, чтобы научиться смотреть на ткань жизни, всматриваться в жизнь: свою, чужую, нашу коллективную, и учиться действовать только вовремя.

Это я опять-таки поясню образом. Вы, наверно, и участвовали, и видели хороводы. Опоздав, юноша, девушка не кидается в хоровод; если сразу кинется, — разлетится все, разобьется ритм, прекратится движение. Опоздавший останавливается, слушает пение; потом начинает двигаться в гармонии и с пением, и с движением, и придет момент, когда весь ритм, вся песнь хоровода так вошли в человека, что он может включиться в хоровод — и хоровод не дрогнет; он просто влился, и хоровод идет дальше. Вот так мы должны научиться глядеть на жизнь — свою, чужую, нашу: через Священное Писание, через такое глубокое сочувствие, сострадание или сорадование с другими, чтобы можно было вступить, не сорвав этого танца, хороводного танца.

Последнее, что я хочу сказать — о важной роли понятия новизны. Разница между человеческой мудростью, которая нас учит или заставляет действовать по трафарету, и Божественной мудростью заключается в том, что человеческая мудрость всегда основана на опыте прошлого — моего или коллективного; это может быть маленький коллектив, несколько десятков лет жизни, это может быть всечеловеческий коллективный опыт, но все равно человеческая мудрость основывается на том, чему меня прошлое научило: если поступить так, то «получается», «выйдет», правильно выйдет. Божественная мудрость совершенно иная. Причинность, причина — почему Бог действует именно так — не коренится где-то в прошлом, а лежит впереди. Бог действует не *потому что*, а *ради* чего-то. Возьмите, например, самое разительное действие Божие — Воплощение. Человек создал земной ад. Бог не стал изнутри этого ада его как-то выправлять, чтобы хоть что-нибудь получилось. Да, Он и это сделал: Он дал заповеди, указания, наставления, пророков и т.д., но это ад не изменило; он стал, может быть, немного менее гнусным. Если взять линию основных заповедей Божиих, в начале книги Бытия говорится: **если за Каина отомстится всемеро, то за Ламехав семьдесят раз всемеро**. Синай говорит: око за око, зуб за зуб. (Это не значит: бей, это значит: не бей больше, чем сам получил). А Христос, как бы в противовес древнему Ламеху, говорит: семьдесят раз седмицей прощай. Вот такой путь от звериной человеческой мести к справедливости, причем жестокой человеческой справедливости, и дальше — к Христову закону; и это, конечно, входит в Божий план.

Но Воплощение — это что-то новое. Бог принимает все, что случилось с нами, и это — неразрешимая проблема. Нельзя создать из падших людей общество спасенных людей, они должны спастись, и тогда будет общество спасенных. И вот Христос вступает в мир. Бог делается человеком — и все, к чему Он приобщился, Он спас и обоготворил. И причина,

почему Он стал человеком, не только в том, что человек пал, а в Воскресении, Вознесении, в нашем последнем призвании быть участниками божественной природы, телом Христовым, храмом Святого Духа. В этом отношении всякое действие христианина эсхатологично, т.е. направлено на последнее свершение истории, на Царство Божие уже осуществленное. И потому в действиях Божиих и в действиях святых есть часто непредсказуемость и нелогичность. С точки зрения разума, с точки зрения человеческой надо было бы сделать то-то или то-то. Святой, под Божиим руководством, поступает нелепо, бессмысленно, вне контекста, он вносит в ситуацию нечто совершенно новое и часто как будто не относящееся к делу, но то, что делает старое положение совершенно иным и новым. Вот где, мне кажется, связывается этот момент христианского делания и христианского созерцания.